



Виктор СЛИПЕНЧУК

ВОЛШЕБСТВО ВЕЩЕЙ

Однажды я заметил, что некоторые предметы могут увеличиваться и становиться больше самих себя. Какой-нибудь маленький болтик, гайка или золотник с ниппелем вдруг становятся такими большими, что за ними не видно других предметов.

Впервые это случилось в пристройке к дому, в которой у нас хранились погнутые велосипедные рамы, колеса и всякие другие вещи, которые мои старшие братья притаскивали с военной свалки возле аэродрома. Много раз мама говорила отцу, чтобы он на подводе куда-нибудь подальше вывез эти железяки, тогда бы она наконец навела порядок в пристройке. Но отец оставался глух, он словно не слышал.

Старший брат Вовка (он старше меня на целых шесть лет) всегда очень боялся, что когда-нибудь отец услышит. По Вовкиному зову мы с Эдькой, средним братом (он на два года младше Вовки), немедленно бросали все и включались в уборку. Мы рассовывали железяки по углам, навешивали колеса на специальные настенные крюки, а огромный ящик со всякой всячиной, который мама называла сундуком с хламом, задвигали под верстак, на котором намертво были укреплены тиски и большая железная коробка с инструментами: ключами, молотками, стамесками и напильниками.

Моя роль была незначительной. Я либо что-нибудь подавал, либо стоял где-нибудь в сторонке и предметы, которые Вовке и Эдьке могли пригодиться уже сегодня, клал в брезентовую сумку. Особенно много таких предметов было в большом

ящике. Над которым, прежде чем его задвинуть, мы подолгу сидели на корточках. Братья отбирали что-нибудь приглянувшееся, а я просто смотрел. Чего здесь только не было: всякие гайки, трубки, пустые баночки, куски медной проволоки, маленькие колесики, подшипники, уродливые противогазы с гофрированными трубками и банками и еще много-много такого, чему мы и названий не знали. Так получалось, что во время уборки как раз из этого ящика больше всего предметов попадало в сумку.

Однажды Вовка выбрал пустую баночку из-под вазелина, но в сумку не опустил. Он вытащил из кармана красноватую бронзовую медаль и вложил ее в баночку.

– Смотрите, – сказал Вовка. – Вложились, как по заказу, тютельница в тютельница.

Мы с Эдькой посмотрели, и я увидел выпуклый портрет вождя, а вокруг него тоненькую каемочку с маленьким бугорком – ушком для звеньшка, на котором медаль подвешивается к специальной колодке, обтянутой красивой разноцветной лентой. Колодки не было. Да и ушко – кто-то спилил напильником. Вовка использовал медаль как битую в игре в чики.

– Эта медаль, наверное, папкина? – спросил я, и братья оцепенели, даже дышать перестали.

– Кто тебе сказал? – встав, строго спросил Вовка, и медаль в баночке вдруг стала такой большой, что он никак не мог закрыть ее зеленой крышечкой.

– Никто не говорил.

Я объяснил, что похожую медаль видел в родительской спальне, в верхнем ящике комода под большим зеркалом. Братья переглянулись.

– Ты лазил в комод?! – осуждающе спросил Эдька и тоже встал.

– Нет, не лазил, он был открыт. Я увидел в зеркале несколько коробочек, на одной из них как раз лежала такая медаль.

– Такая медаль – мамина, она называется «За доблестный труд», – сказал Вовка и упрекнул Эдьку за то, что не закрыл комод.

– У меня не хватило сил, ящик заело, он не поддавался.

Эдька оправдывался и нападал на меня, будто я специально подсмотрел за ним, чтобы заглянуть в комод. Тогда я еще раз повторил, что не заглядывал, а увидел медаль в зеркале.

– Не вздумай никому сказать, не проболтайся, – предупредил Эдька.

– Ну, вот еще, – сказал я, а Вовка махнул рукой, мол, пусть говорит, все равно папка когда-нибудь узнает.

– Не узнает, – возразил Эдька.

Он сказал, что ни мама, ни папка не надевают медалей, потому что на Доску почета они уже сфотографировались, а для газеты все равно, чья это медаль, потому что главное – документы, которые у них разные.

– Они что, документы приколют себе на грудь? – сказал Вовка.

Мы весело засмеялись, мы представили папку с множеством документов, развешанных на груди.

– Все, хватит, – оборвал Вовка. – Глупый смех может накликать что-нибудь плохое.

Он присел на корточки, и мы тоже присели. Вовка стал искать железную трубочку для Эдьки, а мне сказал принести из летней кухни какую-нибудь самую большую сырую картофелину. Я принес, а они все еще никак не могли найти нужную трубочку. Наконец Вовка сказал, что нашел. Он засунул руку так глубоко в ящик, что ему пришлось привстать. Мы стали освобождать Вовкину руку, чтобы он мог вытащить трубочку. Она несколько раз выскальзывала, и все же он ее вытащил.

Это была трубочка от ученической ручки, которая с одной стороны закрывалась гильзочкой для чернильного перышка, а с другой – для огрызка карандаша. Гильзочек на ней не было, но я сразу узнал ее. Ровная и гладкая, она была с обоих концов как бы прямо отпиленной.

Посмотрев через нее на свет, Вовка сказал:

– Отливает сталью, как охотничье ружье. – И сразу трубочка стала большой-большой. – Давай патроны! – потребовал Вовка.

Но я не знал, где они могут быть. Я шарил глазами по сторонам. И тогда Эдька подскочил и выхватил картофелину. И я отчетливо увидел, что и она стала другой, намного больше, чем я думал. Вовка воткнул в нее трубочку и с мясом выломил застрявшее в ней содержимое.

– Вот, смотрите, патрон, – сказал Вовка и показал на отверстие трубочки, полностью забитое картошкой. – Но это еще не жиган, не пуля.

Он взял гвоздь и шляпкой чуть-чуть продвинул застрявшую картошку вглубь трубочки.

– Вот теперь ружье заряжено.

Вовка сказал, чтобы Эдька стал в проеме открытой двери лицом во двор, иначе пуля может попасть в глаз.

– Ты же не белка. Это белок бьют только в глаз, чтобы не испортить шкурку.

Он спросил: знали мы об этом? Я не знал, и трубочка стала еще больше. Вовка дунул в нее с другого конца, и пуля с хлопком попала в Эдькино ухо и, отскочив, упала мне под ноги. Она была похожа на улитку, вылезшую из своего свернутого домика.

– Брось пулю в помойное ведро, она использована! – сказал Вовка и опять воткнул трубочку в картошку.

Он вновь приготовил заряд, но я не выбросил использованную пулю. Я подоткнул ее под резинку трусов и, пока стоял мишенью для Эдьки, потихоньку отламывал от медной проволоки два маленьких кончика.

– Валерка, не шевелись – мешаешь целиться, – возмутился Эдька, и тогда я сказал, что он тоже шевелился.

Он стал спорить, но Вовка сказал:

– Если бы ты не шевелился, я бы попал тебе в голову, а не в ухо.

Вовка разрешил нам стрелять куда попало, но так, чтобы пули вылетали во двор. Во дворе их подберут куры, а из пристройки их придется выметать, потому что раздавленная пуля, если на нее наступить, становится похожей на обыкновенный плевок.

Всякий раз после выстрела Вовка заряжал трубочку, поэтому он и выбирал, чья очередь стрелять. Больше всех, конечно, стрелял он сам и Эдька, но мне тоже дали несколько раз выстрелить. Картошка стала совсем никакой.

– Все, финиш, – сказал Вовка и положил ее на верстак.

Картошка была похожа на ноздреватый мячик. Но мячиков, усеянных круглыми дырочками, мы никогда не видели, и Вовка сказал, что теперь у этой картошки есть сходство с ежиком.

– Тогда в нее надо натывать иголок, – сказал Эдька.

– Ну, вот еще, – не одобрил Вовка.

И тогда я вынул из-под резинки пулю, упавшую мне под ноги, и как раз над темным пятчком воткнул в нее два приготовленных кончика проволоки.

– А теперь угадайте – что это?

В моей раскрытой горсти на ладони лежал самый первый заряд. Он подсох и слегка согнулся и с проволочками был точь-в-точь как улитка, но без домика.

– На червяка не походит – у червяков рожки, а у этого усики, – сказал Эдька. – Таких червяков нигде не бывает.

Вот и хорошо, что не бывает, подумал я, и мне захотелось выбросить свою поделку в помойное ведро, потому что никаких червей я не переношу. Я брезгую ими, даже когда они полезные, как шелковичные. Но тут вмешался Вовка, он сказал, что если бы рядом лежала ракушка от улитки, то он бы сразу подумал, что это настоящая улитка.

– У нее и мордочка темная, как у настоящей. Ты смотри, как здорово придумал! – восхитился Вовка, и улитка на моей ладони стала большим-большим бриллиантом.

Братья приблизились, чтобы получше рассмотреть мое сокровище, и Эдька сказал:

– Вовка, ты просто не знаешь нашего Валерку, он иногда может что-нибудь такое хорошее сделать, что никто-никто никогда не сделает.

Мое сердце переполнилось. Мне такого брата еще не говорили. И я не выдержал. Неожиданно для себя изо всей силы сжал руку, мое сокровище хрустнуло и раздавилось. Я тут же разжал кулак, но было поздно, все уже произошло.

– Ну вот, – сказал Эдька. – Что ты наделал, ты же превратил улитку в настоящий плевок.

Я готов был зареветь от обиды на самого себя, но тут Вовка положил в мою руку остатки картошки.

– Иди соскреби свой плевок ежиком и все это выбрось в помойное ведро. И запомни, главное не то, что ты сделал, а что сумеешь сделать, и это находится в голове, и там оно никогда не испортится.

Он посмотрел на порядок, который мы навели в пристройке, и опустил коробочку с медалью и трубочку на дно брезентовой сумки. Потом переломил ее, как переламывают голенище изношенного сапога, и положил в уголок огромного ящика. Встал, еще раз во все глаза глянул сверху и на всякий случай привалил брезентовую сумку кожухом от магнето.

– Все, будем задвигать! – объявил Вовка, и они с Эдькой стали задвигать ящик под верстак.

Я тоже успел и немного помог. Когда встали и уже хотели выйти из пристройки, Эдька сказал, что если бы ушко медали было целым, то ее можно было бы вернуть на место.

– Эх ты, – сказал Вовка. – Ты думаешь, я нарочно спилил?! Нет – случайно вышло.

Он объяснил, что обернул медаль суконной тряпочкой, чтобы не повредить, зажал тисками и взял напильник.

Вовка выудил из инструментов трехгранный напильник с деревянной ручкой и показал нам.

Вовка хотел только чуть-чуть надпилить медаль возле ушка, чтобы посмотреть: это такой красноватой краской она покрашена или есть на свете такая редкая красная бронза. Он осторожно установил напильник, а когда потянул его на себя, медаль неожиданно крутнулась в тисках, и напильник, соскользнув, снес ушко до самой дырочки. Вовка резко бросил напильник на инструменты.

– Это же – зверь, почти как холодное оружие.

Напильник и раньше казался мне очень большим, а теперь он был больше ржавого японского штыка, которым по осени мы рубили стебли кукурузы.

После своей улитки я очень глубоко понимал Вовку. Настолько глубоко, как будто это я сам нечаянно снес ушко медали.

Мы замолчали, а Вовка, глядя на нас, неожиданно повеселел.

– Не переживайте, если папка возьмется за ремень, я убегу из дому.

– Как это убежишь?! – не поняли мы.

– Очень просто, буду спать на чердаках колхозных амбаров или пустых рисо заводских складов.

– Навсегда убежишь? – спросил Эдька с ужасом и восторгом.

– Навсегда, если папка не простит.

– А ты бы простил? – спросил Эдька.

– Нет, не простил. Эта медаль дороже некоторых военных, а у папки сплошные нервы из-за базедовой болезни.

Мы стали расспрашивать Вовку, где он будет кушать – или начнет ходить по дворам, как побирушка? И что же со школой? Он теперь что – нигде не будет учиться?

На все вопросы Вовка отвечал нехотя, потому что сам не знал, что с ним будет, когда убежит. На первое время он возьмет горсть мелочи из копилки, а там посмотрит. Эдька сказал, что в копилке все деньги Вовкины, он их выиграл в чикку, так что никто ничего не скажет, если он заберет всю копилку. Вовка возразил:

– Только горсть, а то получится – мы копили деньги, чтобы я убежал из дому.

– Эх, Вовка, теперь так, как ты, никто не сыграет с летчиками, – с грустью заметил Эдька и спросил: – Наверное, медаль возьмешь с собой?

– Нет – она же не моя, – сказал Вовка, и мы замолчали.

Я вспомнил, как приходили военные летчики, чтобы поиграть в чикку. Они всегда были радостными и чисто одетыми,

в городских шелковых теннисках. Веселье, смеющиеся, они приходили на нашу улицу, как на праздник. А для нас они сами были праздником. Летчики могли обыграть в чику любого из пацанов, кроме Вовки. Бросая битую, Вовка до того сосредотачивался, что все затихало. Он никогда не промахивался. Он бил битой с лета по столбику монет, и они, как брызги, разлетались во все стороны. Мы с Эдькой бросались собирать мелочь, а Вовка стоял и лишь указывал нам босой ногой на отдельные далеко откатившиеся монеты.

Летчики чувствовали, что Вовка играет в чику не только из-за денег. Он показывает им свою ловкость и меткий глаз. Это летчиков задевало и подзадоривало. Они горячились, обещали наказать Аса, так они называли Вовку. А он стоял, руки в карманах обтрепанных шаровар, и смотрел вдаль с таким видом, будто разговор шел не о нем. Он даже для нас с Эдькой становился немного чужим. Так что поначалу, когда мы бросались собирать деньги, летчики нас останавливали. Но когда узнали, что мы Вовкины братья, извинились, потому что поняли, что у такого, как Вовка, просто не может быть плохих братьев.

Когда Вовка отсутствовал, за ним прибежали Герка Воронков и Витька Гребенюк (соседи, старшеклассники с нашей улицы). Они сообщали, что его зовут летчики, хотят, чтобы ас-истребитель у них истребил мелочь в карманах.

Но старшая сестра Рая, которая училась в техникуме во Владивостоке и на каникулах была в доме главной, никогда не отпускала Вовку, пока он не выполнит свою работу – не наосит воды в бочку для коровы и не наколет дров. Тогда пацаны начинали помогать Вовке, даже летчики иногда кололи дрова.

Рая сидела на крыльце в черной блестящей шляпке с ниспадающей на глаза сеточкой, усыпанной белыми звездочками, и через нее читала газету «Черниговский колхозник». Она наблюдала, чтобы все в точности было выполнено. Только тогда она отпускала Вовку. Уходя, летчики всегда интересовались: «Ну и что там пишут?» – «Пишут, что наши военные летчики самые лучшие в мире», – отвечала Рая, и они все смеялись от удовольствия.

Начиная игру, Вовка ставил условие – не мухлевать, играть по-честному. По-честному его никто не мог победить. Его и в вышибалу сразу выбирали капитаном команды. Все заранее знали, что там, где наш Вовка, – там победа.

И мне очень обидно стало, что Вовка убежит из дому и превратится в попрошайку. И я сказал, что когда он убежит, пусть не попрошайничает, потому что мама с утра нарезает

хлеб каждому. И мы с Эдькой будем приносить его порцию – куда он скажет. И еще я от своей буду отламывать.

– Откуда ты знаешь, что мама станет нарезать Вовке его порцию? – удивился Эдька. – Она же узнает, что он убежал.

– Знаю, – сказал я. – Мама никогда не согласится, что у нас нет Вовки, она будет нарезать ему хлеб всегда.

Вовка подошел и дал мне подзатыльник. И стал смотреть вдаль проема так, словно он был один, а нас с ним не было. И я тоже стал так же смотреть, потому что в глазах у меня закипали слезы. Но не от обиды за подзатыльник, а потому что такого брата, как наш Вовка, нам с Эдькой больше не найти.

Вовки не было дома пять дней. Он рано утром появлялся в глубоком овраге за огородом – мы приносили хлеб.

Грязный, обтрепанный, весь в репьях и бурьяне, Вовка спрашивал – что отец? Мы говорили, что отец молчит, а мама плачет. А Райка ругается на всех нас. Говорит, что скажет военным летчикам, чтобы тебя насильно притащили.

– Нет, они не станут, – сказал Вовка и усмехнулся внутрь себя. – Пока вы приходите к складам, они не тронут, они думают, что вы меня охраняете.

Это было так удивительно слышать, потому что вслед за Вовкой все пацаны с нашей улицы и со станции переместились гулять к складам. И мы с Эдькой всегда незаметно появлялись у какого-нибудь склада, но близко не подходили. Мы понимали, что теперь мы лишние. Мы думали: никто нас не видит, что мы наблюдаем за Вовкой. Мы тогда не знали, что сами стали такими большими предметами, что нас уже видно отовсюду.

– Смотрите, что у меня есть, – сказал Вовка.

Он вытащил из карманов светлые круглые камешки, из которых кресалом выбивают искры, и стал жонглировать ими. У него получалось ловко, очень ловко, словно у настоящего жонглера. (Вовка был все таким же старшим братом – с ним было интересно.) И тут Эдька сказал, что видел его медаль в баночке из-под вазелина на родительском комод. Вовка уронил камешки.

– Знаешь, Вовка, – сказал Эдька. – Завтра утром мы с Валеркой попросим у папки прощения.

– И что вы скажете? – заинтересовался Вовка и, собрав камешки, разложил по карманам моей тужурки.

– Мы скажем, что так делать больше не будем.

Вовка сказал, что мы здесь ни при чем. Но если хотим так говорить – он запретить не может, но потом, когда папка от-

лупит нас, чтобы не приходили к складам, иначе еще и от него получим.

На следующее утро мы подгадали так, что в летней кухне собрались все. Эдька приказал просить прощения мне, потому что меньшим больше всего прощают.

Когда я стал говорить, папка положил ложку, а мама сразу же села на табуретку возле плиты. Райка на нас даже не взглянула, она от нечего делать стала смотреть в окно.

Папка выслушал, помолчал, неторопливо достал из нагрудного кармана баночку с медалью.

– Держи, – сказал он Эдьке. – Отдайте ему эту медаль и скажите, что теперь она его.

Мы уже вылетели из летней кухни, когда, распахнув окно, Райка крикнула вдогон, чтобы не тянули Вовку за стол, а шли в летний душ. Она однажды видела его издали – грязный, как поросенок.

Вовка ждал нас в овраге. Мы взахлеб рассказали, что папка простил его, что он отдал ему свою медаль, и теперь она его. Вовка слушал серьезно и отстраненно. В нем самом было что-то чеканное, как в медали. И только когда открыл крышечку, он засмеялся. И мы с Эдькой с двух сторон потянули его за руки.

Мы шли втроем, мы шли огородами, и меня распирало от радости. Потому что мы шли домой, потому что мы шли с Вовкой, с нашим старшим братом.

Никогда прежде я не испытывал столь большой радости. Но Райка все испортила. Она сказала, что, глядя на нас в окно, мама плакала.

КРЫЛАТЫЙ БОЕВОЙ КОНЬ

Сердце торкнулось и побежало-побежало, и я проснулся. Я спал на ватниках, постеленных на полу, и, привстав, сразу увидел две конфеты. Настоящих, в прозрачных фантиках. Я подоткнул их под резинку трусов и выскочил на улицу. Обычно мы с мамой приходили в колхозный детсад первыми: она – как заведующая, а я – как слишком маленький, которого поу-тру не с кем оставить.

Сегодня она меня не разбудила, и я, как большой, сам побежал в детсад. Все было чудесным. Солнце уже поднялось, и улица была как на ладони. Две конфеты вызывали массу не-

ожиданных мыслей. Они просто взрывали мой мозг внезапно открывшимися возможностями. Десятки решений бурлили в моей голове, и я наконец решил, что одну из конфет дам Павлику Башта. Мальчику из старшей группы, который бежал лучше всех, но не хотел играть с нами, мальчишками из средней. У меня возник план задобрить его. План был замечательным, но Павлик мог не согласиться стать моим боевым крылатым конем всего за одну конфету.

За две он, конечно, не устоит, размышлял я. Но вторую конфету мне хотелось попробовать самому. Однажды я уже пробовал такую в прозрачном фантике. Очень, очень сладкая конфета. Намного слаще сахара. Мне захотелось удостовериться, я даже приостановился.

Но если он не захочет за одну?! Мысль обожгла, я со всех ног припустил по дороге что было сил. Если он не захочет, то я ему скажу: бери вторую, черт с тобой! Так чертыхается повариха, когда водовоз требует полного трудодня за одну внеплановую бочку.

Подбегая к детскому саду, увидел многих мальчишек из старшей группы, вылезших на забор. Павлика среди них не было.

Мама стояла возле летней кухни в окружении воспитательниц. Все они были в белых халатах (по ним мы легко отличали их от других работников). Чтобы не привлекать внимания, я побежал к другой калитке. Я не хотел показывать, что моя мама заведующая детским садом, чтобы потом меня не дразнили «маменькиным сыночком».

Меня окликнула Мария Васильевна, воспитательница нашей группы. Приоткрыв калитку, сказала, чтобы помыл руки. Сейчас будем завтракать на веранде, а потом всем детским садом пойдем на речку купаться. Сообщение о том, что после завтрака всем детским садом пойдем на речку, словно подбросило в огонь сухого хвороста.

Я пригнулся, чтобы никто не думал, что я маменькин сыночек, и опять со всех ног помчался к главному корпусу. Я только один раз мельком оглянулся на маму (она стояла ко мне спиной), но все равно по лицам воспитательниц догадался, что мама молчаливо усмехается мне какой-то своей далекой мыслью.

В такой день не жалко будет отдать и вторую конфету. Я представил, как Павлик мчится по зеленому пойменному лугу, а я не отстаю, потому что держусь за удила, крепкие веревочки из парашютных строп, которые он приносит из дому

как свою личную сбрую. Меня охватила внезапная радость. Для такого сильного скакуна, как Павлик, не жалко никаких конфет, думал я и в умывальной нос к носу столкнулся с ним.

– А, это ты! – сказал Павлик.

И предупредил, что если в другой раз буду так лететь, то он не посмотрит, что моя мама заведующая детсадом, и подставит мне ножку, чтобы я разбил нос.

Он нарочно сказал про маму, чтобы обидеть, он знал, что никому не понравится, когда ко всему, что ты ни делаешь, примешивают маму.

– Где твоя сбруя? – спросил я.

– А что?! – испугался Павлик.

– А то, что хочу попросить тебя побыть моим боевым крылатым конем.

– Ты?! Меня?! Боевым крылатым конем?

Павлик стал насмеяться надо мной.

– Ты кто такой? – спрашивал он меня. – Ты думаешь, если твоя мама заведующая детсадом, то я соглашусь?!

Он бил очень больно, но я молчал. Я знал, что Павлик будет так говорить, потому что на его месте каждый бы так говорил, потому что Павлик – это лучший крылатый боевой конь.

– Да ты знаешь, кем был мой отец до войны?

Павлик побледнел, и я подумал, что все сорвалось, потому что когда-то давным-давно, когда меня и в помине не было, отец Павлика был председателем нашего колхоза, а теперь он с трудом ходит на костылях. И тут, на мое счастье, зазвенел звонок на завтрак.

– Не торопись! Завтракать будем на веранде, – сказал я и предложил, что за каждую его пробежку от забора до забора я согласен быть конем Павлика столько раз, сколько он захочет.

– Ну, ты совсем уже белены объелся, – сказал Павлик и побежал на завтрак.

Пока умывался, слышал, как в старшей группе он объявил, что завтракать будем на веранде. По голосу Павлика догадался – он простил меня и гордится новостью. Если успею, скажу ему, что после завтрака пойдем на речку. Я представил, как мы бежим по траве, по золотым одуванчикам и ромашкам, набивающимся между пальцами, и до того разгорячился, что пришлось подставлять голову под рукомойник. Холодная вода освежила, и я поспешил на веранду.

Мне опять повезло. Павлик ждал меня.

– Смотри, – сказал он и растопырил боковой карман на своих коротких штанах с отстегнутыми лямками.

Карман был набит парашютными стропами.

– Но я все равно не буду твоим крылатым конем, ты плохо бегаешь, – сказал Павлик и стал задаваться, что от забора и до забора слишком мало места для крылатого коня. – От забора и до забора бегают лошадки-водовозки.

– После завтрака мы пойдем на речку, – сказал я. – А теперь смотри!

Я вытащил из-под резинки две настоящих конфеты в прозрачных слюдянистых обертках и одну пообещал отдать Павлику, если он согласится быть моим крылатым конем. Он как увидел конфеты, так сразу же и сглотнул слюну.

– Настоящие, в фантиках, – восхитился он, а я опять спрятал конфеты под резинку, потому что к нам подбежал Мишка Рубанюк.

Мишка был старше меня на пятнадцать дней, а ростом был маленьким, словно из младшей группы. Его интересует все, что интересует меня. Он и за столом сидит рядом со мной, а вчера попросил, чтобы я разрешил ему иногда говорить в группе, что он старше меня. Я не разрешил. Я сказал, что пусть вначале обгонит меня ростом, а потом говорит. Мишка покраснел, как вареный рак, потому что понял, что его разоблачили, что он хочет быть выше ростом за счет других.

– Смотри, – подбежав, сказал Мишка и растопырил карман, точь-в-точь как Павлик.

Я увидел пучок смятого ворсистого шпагата, перетянутого суровой ниткой, и нарочно загородил карман, потому что сразу догадался, что это не шпагат, а жалкая сбруя для боевого коня. Конечно, она не шла ни в какое сравнение со сбруей из настоящих парашютных строп, внутри которых протянуты крепчайшие шелковые нитки, которые многие рыбаки используют на лески. Я не хотел, чтобы Павлик увидел Мишкину сбрую, но он увидел и сразу стал насмеяться над нами.

– Ой-е-ей, какая хорошая сбруя! – деланно засмеялся Павлик. – Как раз для лошадки-водовоза.

Он побежал за стол в свою старшую группу. А я сказал Мишке, чтобы он не садился со мной за столом – я с ним сидеть не буду. Мишка сторбился, стал еще меньше. И опять покраснел, как рак. Так тебе и надо, подумал я. И ушел от него. И нарочно сел в самой гуще пацанов, чтобы рядом не было ни одного свободного места. Мишка Рубанюк просто опостылел мне своей дружбой.

После завтрака нас повели на речку. У старших была своя воспитательница, а с нами была Мария Васильевна. У шоссей-

ной дороги мы смешались со старшими, а за дорогой нас снова разъединили, потому что старшим надо было идти на вторую ямку (она дальше), а нам – на третью (ближайшую излучину, где море песка, где без дождей речка совсем обмелела).

Мишки Рубанюка я не видел, после завтрака он старался не попадаться мне на глаза. Зато за шоссеиной дорогой Павлик Башта сам подошел ко мне.

– Давай свои конфеты, только не хнычь, если упадешь и нос разобьешь.

Я напомнил Павлику, что мы условились за одну конфету. Но он сказал, что, как только наденет сбрую, мы помчимся сразу до второй ямки, минуя третью.

– Это тебе не от забора до забора.

Мы вместе посмотрели вдаль пойменного дуга, усеянного золотыми цветами одуванчиков, а потом он вытащил из кармана свою великолепную сбрую с двумя поперечными перехватами веревочками и сказал:

– От второй ямки до третьей, так и быть, ты будешь боевым крылатым конем.

Это была неслыханная удача. На виду у всех проскакать боевым крылатым конем самого Павлика. Но я не стал выдавать свою радость и, вытащив из-под резинки конфеты, сказал:

– На, черт с тобой!

Я никогда не видел вблизи сбрую боевого крылатого коня, а только на Павлике. Теперь она лежала на траве и оказалась намного лучше, чем я думал.

Если ты боевой крылатый конь, то надо накинуть стропу на плечи, пропустить под руками, и первая поперечная веревочка, что ближе всего к спине, становится чересседельником, а другая, что ближе к наезднику, получается тачанкой-ростовчанкой. Она удерживает поводья, чтобы они не распадались и не запутывались. Если настала очередь наезднику стать конем, то ему не надо никого ждать, а надо сразу запрягаться в сбрую со своего конца.

У этой великолепной сбруи много, очень много неожиданных значений. Но пока она лежала на траве, я хорошо рассмотрел ее и понял, что только пусть придет время, я сам сделаю такую, а может быть, и лучше. И оттого, что я понял, такая радость меня охватила, что я не мог стоять на месте. Все мое тело трепетало от нетерпения.

– Павлик! Давай помогу!

– Вот еще, – сказал Павлик и сообщил, что конфеты сосательные.

Он одну конфету положил в рот, а другую – вместе с фантиком в карман. Но меня уже не интересовали конфеты. Я сгорал от нетерпения. Наконец Павлик облачился в боевого крылатого коня, и мы помчались.

Ликующие лица, смеющееся солнце и простор неба и луга я схватывал глазами, как птица, не чувствуя ног.

– Губкин! Башта!

Я слышал этот оклик. Но сердце не отзывалось. Простор жизни переполнял меня, и я не мог остановиться.

За стеной ивняка Павлик замедлился, и я чуть не сбил его с ног.

– Хватит! – выдохнул он. – Мы уже на первой ямке.

Тут только я увидел за ивняком излучину речки и взрослых, ныряющих ласточкой с крутого берега.

– Теперь твоя очередь быть конем, – сказал Павлик.

Я не стал ждать, пока он распряжется, и быстренько со своего конца надел сбрую.

– Ты, наверное, где-нибудь подсмотрел, что она двусторонняя?! – удивился Павлик.

Я промолчал. Я не хотел тратить время на разговоры.

– До второй ямки. И хватит, мы слишком далеко убежали, – предупредил Павлик и предложил: – Хочешь, я поделюсь и откушу тебе полконфеты?

– Нет, не хочу, – сказал я, потому что никакие конфеты теперь не могли сравниться с тем, что вдруг открылось мне.

– А я и не знал, что ты так хорошо бегаешь, – сказал Павлик, и я засмеялся, потому что теперь знал, что это была правда.

И мы опять побежали. И опять простор зеленого луга и неба вскакивали в меня и переполняли сердце. Павлик не успевал за мной. Стропы то натягивались, то ослабевали, но это только прибавляло сил. Я бежал галопом, как самый настоящий крылатый боевой конь. Как только чувствовал, что Павлик сейчас натянет поводья, я, рванув, подпрыгивал, бросаясь вперед всем телом.

Из-за стены ивняка выбежали мальчишки старшей группы.

– Вот они, вот они! – кричали они, расступаясь.

Павлик бросил поводья, и я на ходу, не останавливаясь, сбросил сбрую. От одинокой ракиты отлепился маленький Мишка Рубанюк. Я узнал его, я узнал бы его и за сто километров. Он стал спускаться к речке, а издали казалось, что он погружается в землю. Мне что-то кричали и Павлик Башта, и другие пацаны, но я не слышал ничего. Я не хотел слышать. Простор неба и луга вошли в меня, и я растворился в них.

Когда выбежал на берег третьей ямки, все уже были заняты своим делом. Кто-то строил домики на песке. Кто-то по-лягушачьи плашмя прыгал на воду. А большинство бегало туда-сюда, обрызгивая друг друга. Вода и солнце, шум и гам были рядом, но не касались меня, и я со всем своим неохватным простором решил выпрыгнуть в этот ликующий мир.

Я кинулся вниз, как птица, как необъезженный крылатый конь. Чтобы ни на кого не наскочить, я взял правее купающихся. Я взял прямо на широкий и рясный куст ивняка. Я знал, что перелечу через него и бомбочкой, поджав ноги, плюхнусь в свободное пространство воды и солнца.

У меня все получилось. Я ни на кого не наскочил и пролетел над ивняком, словно крылатый боевой конь. Я нарочно не выпрямлял ног, пока не коснулся дна. А когда коснулся, сразу разжался весь, как тугая пружина.

Дно оказалось илистым и вязким. Я засучил ногами и заспешил, чтобы выскочить из воды. Меня никогда не учили плавать, и я стал барахтаться. Теперь я взмахивал руками, как большая всамделишная птица. И всякий свой взлет невольно гасил движением крыльев вверх. Я не мог вынырнуть, но страха не было. Глаза сами открылись, и взбаламученная желтая муть стала застить свет, и, чтобы не захлебнуться, я стал пить ее.

Совсем рядом над головой засветилась серебряная сверкающая полоска. Я знал, что мне надо хотя бы коснуться ее. Хотя бы зацепиться за нее глазами. И тогда я снова увижу и солнце, и весь-весь ликующий день. Но у меня не получалось. Желтая вода не давала дотянуться и с каждым взмахом крыльев отодвигала ее. И тогда, чтобы приблизиться к ней, я стал пить воду и глазами, и крыльями, и всем-всем своим телом. Вода вливалась в меня, не останавливаясь. От разрывающей рези глаза вылазили из орбит, и, чтобы помочь им, я пил и пил. Но желтой воды становилось все больше и больше. Она вытесняла весь простор жизни, который еще минуту назад я впервые открыл в себе.

И тогда я замедлил движение рук и перестал взмахивать ими, как крыльями. Я сжался и медленно опустился на дно. Я вновь почувствовал его илистую вязкость, но ни на секунду не забывал о светлой полоске вверху. Я искал ее сквозь желтую муть и, не отвлекаясь, собирал в себе весь простор жизни, который еще был во мне, до которого эта желтая муть еще не добралась. Я собирал его в серебряный живой комочек, и что-то необъяснимое вдруг стало поднимать меня.

Я увидел светящуюся полоску и почувствовал, что под сердцем комочек шевельнулся. И тогда молчаливо я шепнул ему: подожди, еще рано, еще желтая муть может перехватить нас. И мы замерли. Но светлая сверкающая полоска услышала наш разговор и стала тихо-тихо подплывать к нам. Она подплывала все ближе и ближе, и живой комочек, притягиваясь к ней, поплыл внутри меня к моим глазам. В какой-то момент, словно от электрической искры, я весь разжался и, словно крылатый боевой конь, изо всех сил взмахнул крыльями. Я ударил ими с такой силой, что полоска разорвалась и зазвенела. Она зазвенела, как тысячи сверкающих брызг.

Я увидел солнце, ликующую детвору и одинокого Мишку Рубанюка, испуганно показывающего рукой на круглый лоснящийся мячик. Мячик, медленно всплыв, постоял под кустом, а потом опять медленно погрузился в воду. У меня не было никакой мысли, что этот мячик – я.

Никто не обращал внимания на призывы Мишки, пока Мария Васильевна вдруг не вскинулась вместе с халатом. И уже на бегу резко не откинула его. Она с разгону бросилась в воду, как раз на то место, на которое указывал Мишка. И опять не было никакой мысли, что она бросилась мне на помощь.

Я подумал о маме и сразу увидел ее, потому что мои глаза теперь были большими-большими, как небо и как простор нескончаемого дня. Она сидела в летней кухне вместе с поварихой и пила чай. Она подняла стакан, и чайная ложечка вдруг выскользнула из стакана.

– Ой, боженьки! – вскрикнула мама и выронила стакан.

Он со звоном разбился о железное ведро. Я хотел поднять чайную ложечку, но здесь все исчезло и забылось.

Я не помнил, как меня откачали и как привели в детский сад. Я вспомнил себя только во время тихого часа. Мы сидели на ступеньках глухого крыльца главного корпуса. Тени больших деревьев ласково шевелили листьями, и все разговаривали боязливо вполголоса. Говорили о злых водолазах, живущих в воде и утаскивающих утопленников. О том, что если бы не Рубанюк, то я утонул бы по-настоящему. Девочка Ольга Вольхина, знавшая все буквы в алфавите, надеялась, что в следующий раз Рубанюк не увидит, и тогда я утону по-настоящему, и водолазы утянут меня, и тогда в группе они все вместе на это посмотрят.

Кто-то сказал, что тонуть – это очень больно, и все сразу зашикали на Вольхину и пообещали: если она утонет, то ее спасать не будут, а сразу отдадут водолазам. Вольхина стала

хныкать, что боится их. А Мишка Рубанюк сказал, что она хочет все знать за счет других. И если она такой останется, то с нею рядом никто сидеть не будет. Он посмотрел на меня, но я промолчал.

Из-за корпуса вышла мама, торопливо взглянула и ушла. Никто не мешал нам сидеть на крыльце во время тихого часа. Я спросил у Мишки:

– А где Павлик Башта?

– Он спит, – ответил Мишка. – Павлик сказал, что если бы ты не утонул, то он бы дал тебе подзатыльник.

Я опять промолчал. Мне было понятно все. Все-все, до самого доньшка. Почему Мишка так говорит и почему – Павлик. И почему мама прибежала и торопливо ушла. И почему Вольхина хотела, чтобы я утонул. Все-все я понимал, но это понимание не радовало меня, а лишь навевало грусть открывшейся жизни.

ОДИНОЧЕСТВО И ГРЕЗЫ

Фантастический рассказ

Он стоял у избы. Капли дождя, залетающие под напуск тесовой крыши, расплзались по отмостке, словно капли времени, овладевавшие его звездолетом. Тогда он вот так же стоял, прижавшись спиной к экранолокатору, гасящему чужие вибрации, и капли времени, словно капли дождя, обходя его, овладевали земным пространством.

Это пространство в безднах чужих галактик было меньше самой маленькой капли. И он понимал, что, как только эта капля исчезнет, исчезнет и он, и все земные предметы, и сам корабль, этот звездолет – чудо земной технической мысли, предметно воспроизводимой лишь на уровне гениальных нанотехнологий. Все это исчезнет. То есть приобретет другие, несвойственные ему вибрации и выпадет из земного времени. И, стало быть, навсегда утратится для самих себя. То есть станет другим, как и он, научившийся не только различать напряженность космических вибраций, но и чувствовать неуловимое веяние света, всегда направленное в сторону Главного Аттрактора. Это новое чувство ему подарил Космос.

Отмостка все более и более темнела, а на душе становилось пустынно и одиноко.

Он почувствовал, что звездолет, исполненный как продолжение его органов чувств, стал энергетически сдуваться, словно проколотый мяч. Все вокруг уменьшилось и продолжало уменьшаться, и только земное время, бегущее в корабельном хронометре, каким-то образом проникало в его мозг и, словно бы усилившись, спешило обратно на пульт управления.

– Осталось семь секунд. Одна сто шестнадцатая минуты... Одна девятнадцатидесятитысячная часа... Одна...

– Погоди, хронометр, ты умеешь говорить человеческим языком?

– Здесь все предметы с Земли сейчас могут говорить всеми человеческими языками, потому что языки умерли. Мы вернулись или приблизились к времени, когда слов не было, а было состояние понимания, которым человек воспользовался: придумал слова, сосредоточил на себе планетарное сознание и земное время.

– Да-да, это Бог привлек человека, чтобы он дал имя каждому животному и каждому предмету и мог на равных входить с ними в общение. Это была большая победа.

– Но и большое поражение, потому что в скорлупе своего времени язык таил преграду инопланетному пониманию. А сейчас мы вырвались из заточения земного времени, заключенного в сосудах слов, и говорим на одинаково нисходящей волне энергии космоса, то есть мы обесточиваемся до вселенского уровня.

– Но почему так медлительны секунды, как будто в них – дни или даже годы?

– Это потому, что, обесточиваясь, земную последнюю каплю времени звездолет отдает тебе. Для твоего последнего желания, в котором все земные предметы надеются состояться.

– Выходит, есть надежда, что через семь секунд звездолет преодолеет чужой временной барьер и мы в итоге найдем дорогу домой?

– Нет, это твое время. Твои последние семь секунд, которые ты волен использовать по своему усмотрению.

– Хорошо-хорошо, поспеши на пульт.

– Но в этом нет необходимости. Осталось три секунды земного времени, а мне, как хронометру, надо на одну десятую больше, чтобы еще раз вернуться и донести всем предметам твое последнее желание. Потому что, оберегаемые мною, они уже давно ждут тебя, они ждут, чтобы стать неопровержимой временной сущностью звездолета.

– Выходит, есть надежда, а стало быть, и вера в меня?

– Да, мы, неодушевленные предметы, верим в тебя, потому что одухотворены тобою. Мы избрали твою позицию, позицию верующего человека. Она представляется нам тверже позиции атеиста. Все наши выкладки подтверждают, что лучше иметь надежду и обещание, чем не иметь и этого.

– Но что можно сделать за три секунды?

– Последние секунды состоят из земной материи, и они действительно длиннее дня, потому что твоя мысль быстрее скорости света и быстрее времени.

– Нет-нет, хронометр, то, что ты имеешь в виду, – это вездесущность, а она подвластна только Богу.

– В последнюю долю секунды Ты станешь Богом, потому что круг твоей жизни сожмется в такую маленькую точку, в которой даже самому ничтожному насекомому не составит труда стать вездесущим. В последний момент его лапки будут видны за линией горизонта и предстанут многотонными столпами великана, спустившегося с небес. А Ты – Человек, твои чувства и мысли будут изливаться в чужие миры из этой маленькой точки, словно из переполненной чаши. Та же теория Большого взрыва, в которой плотью вещества, расширяющего пространство, предстанут не материальные субстанции, а магнетизм сознания, улавливающего излучение бегущей мысли.

– Я никогда не стану Богом. И смею полагать, что человек никогда не станет Богом. И слава богу, что я это понимаю. Человек может только приблизиться к Богу, именно это, хронометр, стало ловушкой твоим расчетам, ты слишком уверовал в бесконечность движения и в бесконечность времени. Но именно здесь и явствует великая истинность апории Зенона Элейского, что быстроногий Ахиллес никогда не догонит неторопливую черепаху. И все же я верю твоим расчетам – у меня уйма времени?

– Да, у тебя уйма времени, – не колеблясь, возвестил хронометр.

Он усмехнулся.

– В таком случае и ты, и все предметы, не пропустите заветной встречи с Богом. А мне самое время уяснить – к чему тяготеет душа, когда ей дана вездесущность.

И ушло изображение хронометра, и пульта, и самого звездолета под какими-то движущимися световыми арками, заполненными серебристыми облаками, в пространстве которых вспыхивали как бы блуждающие огни фейерверка.

И он почувствовал – время исчезло. Так было и прежде, когда являлась она. Так произошло и сейчас.

Он увидел ее. Она стояла возле новогодней елки в окружении подруг. На ней было золотистое атласное платье в лепестках повилки, собранной в венки, на которых мелкие ярко-белые цветики сияли, словно россыпи звезд. Белые туфли и белый широкий пояс по талии. Такие же белые шелковые перчатки и черная сверкающая алмазами полумаска, сдвинутая на туго затянутый узел светло-русых волос.

Слушая подруг, она улыбалась, и вдруг глаза их встретились. Между ними словно пробежал электрический импульс. И они, как две сомнамбулы, ведомые необъяснимым магнетизмом, потянулись друг к другу. Нет-нет, еще не здесь, а там, в отдаленных потоках сознания. Да-да, что-то помимо их воли сообщилось, и сердце воскликнуло:

– Ты – есть! И это – ты!

– Да, я – есть! Да, это – я! – отозвалась она с такой радостью, что он почувствовал в себе как бы эхо ее восторга. Эхо, которое вдруг наполнилось радостью узнавания, что она – это она. Узнавания, которое вдруг раздвинуло мир, и он почувствовал, что у мира нет границ, но душа легко охватывает его, потому что сама нехватна.

Что это было? Необъятное пространство? Или пространство всех возможных пространств, пронизанное и сотканное из вещества сознания?

– Ты – есть! И это – ты!

– Да, я – есть! Да, это – я!

Словно блики света, они неслись навстречу друг другу и, сталкиваясь, радужно рассыпались по веществу, сделанному из таких же, как и они, бликов. Бликов, почему-то уснувших и вдруг отозвавшихся на их электрический импульс. Это был танец движения света, когда на затемненном зеркальном глобусе блики вспыхивали и исчезали, вспыхивали и исчезали, и вдруг вновь рождались, и, сталкиваясь, рассыпались на множество разноцветных лучей.

А здесь, под новогодней елкой, в актовом зале института, ударник джазового оркестра как бы пробежал дробью по головам и зыкнул тарелками.

И на затемненном глобусе разом активировались и засияли все блики. Они засияли, словно солнце.

«О, я люблю тебя, вишневый сад», – запели кларнеты студенческого джаза. И маски, плотной стеной отозвавшиеся на музыку, бесцеремонно подтолкнули его, и он сказал: «Разрешите!» Она в ответ засмеялась, и этот смех ослепил его, то есть там, где пребывало сознание, он увидел прямо перед собой солнце.

Подруги ретировались, и они в этом переполненном актовом зале вдруг остались одни. (Два космических блика – нежданно-негаданно слетевших с небес.)

– Вы всех так бесцеремонно приглашаете? – спросила она и, чтобы он не увидел ее необъяснимой радости, тут же опустила сверкающую полумаску на глаза.

– Да, он такой, всех так бесцеремонно приглашает, – сказал он о себе в третьем лице.

И стал заливать, то есть врать, как врут завзятые рыбаки и охотники.

Она узнала, что он опаснейший сердцеед, перед которым все донжуаны мира есть только бледная тень. Он заливал весело, с поговорками и пословицами, и отчетливо видел (полумаска не могла скрыть), что она не верит ни единому его слову. И это особенно пленило и воспаляло. Он шутил, смеялся над своими вымышленными победами, а когда иссякал, она неожиданно остроумно подыгрывала ему – «О, есть у нас вишневый старый сад – зовет под розовую тень!»

Когда музыка закончилась и по правилам приличия, которые теперь он не смел нарушить, он должен был расстаться с нею в угоду подружкам, нетерпеливо подзывавшим ее, он неожиданно для себя сорвал с елки игрушку – серебряную белочку, грызущую золотые орешки на фоне зеленого кедрового домика.

– Пожалуйста, примите эту кражу со взломом, – умоляюще сказал он.

И она испугалась.

– Мы что же – никогда больше не встретимся?!

Он поднял голову. Сквозь облачные расслоения вырывались штандарты солнечных лучей. Вдали на темно-синей полосе горизонта зажглись две прямые короткие радуги. Такое впечатление, будто стоят два человека, объятые аурой: взрослый мужчина и мальчик, приготовишка. И он вспомнил, как много-много лет назад его сын нарисовал точно такие радуги и сказал:

– Это ты и я – мы на новом небе новой земли.

В единый миг он почувствовал и горечь, и радость – сын понимает его. Он тогда улетал на Проксиму Центавра на поиски так называемых кочующих планет. Тогда никто не предполагал, что они созданы искусственным разумом. Более того, не было никаких свидетельств, что они вообще существуют.

Радуги стали, как бы выцветая, бледнеть и наконец исчезли. Горизонт, вспухая, приблизился, и капли, налившись, за-

мерли. Ни ветерка, ни шороха. Все умерло. И вдруг ветер мощным порывом пробежал по макушкам деревьев и сгас. День потемнел, и сразу раздался приближающийся рокот грома. В стригущем движении молний свод неба задрожал и, словно сорвавшись с цепей, обрушился белым ливнем.

Направляясь к беседке, увитой плющом, он съежился, представил, как холодные ручейки побегут за шиворот. Но ливень не коснулся его. Он словно бы находился под прозрачным стеклянным куполом.

Служба охраны интеллектуальной собственности, СОИС, использует возможности его звездолета так, словно это не Земля, а какая-то чужая планета. Они все знают о нем и почему-то не отпускают его. Нет-нет, они не ограничивают его свободы воли, считаются с законами, которые были выработаны для таких, как он, исследователей дальнего космоса. Со временем эти законы стали основой нравственных тяготений. Но он не исключал и того, что человеческие возможности, в том числе и биологические, с тех пор значительно возросли. Во всяком случае, неминуемо претерпели изменения, и, возможно, его нравственные тяготения не вписываются в нынешние постулаты. Все как бы то же самое, но на другой ступени понимания. Они говорят, что по биологическому времени ему шестьсот лет, а по старому земному летоисчислению – более десяти тысяч. За свою жизнь он насмотрелся всего, его невозможно удивить. И все же он удивился. Оказывается, по земному сегодняшнему времени ему всего пять лет. Впрочем, как раз в этом нет ничего удивительного, ведь со времен его отсутствия летоисчисление на Земле менялось трижды.

Он вошел в пространство беседки к плетенному из прутьев шезлонгу-качалке. Ему нравилось, покачиваясь в нем, слушать, как вода позванивает в водосточных трубах и, булькая, изливается в каменный желоб. У так называемой водонапорной башни (отрезок металлической трубы, выдвинутый из другого пространства и висящий в воздухе) вода разбегалась на сеть мельчайших ручейков, которые за счет искусственной гравитации текли вверх и вниз, орошая каждое дерево дендропарка.

Он бывал здесь с нею. Когда никто и слыхом не слыхивал, что гравитация создается в том числе и психической энергией и может, как статическое электричество, использоваться на бытовом уровне. Впрочем, разве комфорта было меньше оттого, что деревья орошались в согласии с простой непреложной истиной – вода всегда течет вниз?

Он улыбнулся – ему пять лет. И все же в биологические пять лет он был полон вопросов, ему до всего было дело. А сейчас даже представить не может, что могло бы его заинтересовать. Он прислушался к себе, как к корабельному хронометру. Увы, он не слышал ничего. В электронном чреве корабля, неразрывно связанном с ним психической энергией, сейчас на все его вопросы возникают молниеносные ответы, опережая и исчерпывая самую возможность вопросов.

Да, это так. Все вопросы гасятся знаниями космоса, в который благодаря проекту поиска искусственных планет была принята Земля. Его сравнивают с Юрием Гагариным. Первооткрыватель эры *Космического Сознания*, в котором нет степеней: этот выше, а этот ниже. Этот живет в особом доме, имеет особую ракету, летает какими-то особыми путями, так что все преклоняются перед ним. Нет! У всех равнозначная работа, а высшее благо – Любовь.

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.

*Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто».**

И он опять увидел ее. Она стояла вдали, в глубине колоннады, прислонясь к колонне. Ее не должно было быть, они условились, что на причал расставаний она не придет. Они отвезут сына к бабушке и, как обычно, разъедутся: она поедет в институт, а он – сюда, чтобы следовать к звездолету и отчалить, как она говорила, в свой дальний космос.

Народу было слишком много. Все теснились к машинам сопровождения. Выступления первых лиц проекта. Краткие пафосные напутствия. А особенно восторженные взгляды многочисленных почитателей, обращенные в его сторону, не оставляли времени ни на что личное. Впрочем, все это они предвидели, когда решили, что она не придет на причал. Но – даже не это было главным. Оберегая ее и сына, он пытался придать расставанию статус обычного, незначительного, как бы не связанного с дальним космосом. И вдруг – она здесь. Он совершенно случайно посмотрел вглубь колоннады. Он не должен был туда смотреть. Тем более что его приглашали сняться на коллективном фото рядом с президентом. Но он посмотрел, и между ними пробежал внезапный импульс. Какой-то внешний, как будто бы к нему не относящийся. Он опустил глаза.

* 1-е послание коринфянам, гл. XIII, 1, 2.

И вдруг увидел солнце, и все в нем вскинулось – «О, я люблю тебя, Вишневый сад!» Блики света вошли друг в друга, и, кажется, она вскрикнула, или ему показалось?!

Он поднял глаза и на экранолокаторе увидел ее всю-всю из той первой встречи. Она летела к нему радостным бликом его очнувшегося сознания.

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла,

не радуется неправде, а сорадуется истине;

все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит.

*Любовь никогда не кончается...»**

Он увидел себя с новогодней игрушкой, серебряной белкой, и услышал ее: «Мы что же, никогда больше не встретимся?!»

Он стоял возле экранолокатора и чувствовал себя растерзанным. Потом, отделяя каждое слово выверенными паузами, исключаящими иное толкование, он приказал весь запас времени, имеющийся у звездолета, употребить на исправление своего поведения на причале. Хронометр не возражал, но сообщил, что измененное поведение никоим образом не скажется на исчезающем времени и лишь понапрасну истратит его. Дальний космос поглотит их, они не успеют даже вымолвить, что они с планеты Земля.

На экранолокаторе появились очертания каменной колоннады и – она. И сразу – он. Он не позволил ей испугаться. «О, я люблю тебя, вишневый сад!»

На ней было золотистое атласное платье в лепестках повилики, белые туфли и белый широкий пояс по талии. Такие же белые шелковые перчатки и черная сверкающая алмазами полумаска, сдвинутая на туго затянутый узел светло-русых волос.

Слушая подруг, она улыбалась, и вдруг глаза их встретились. И он почувствовал, что они рядом, что они вместе, что они – одно целое. «О, есть у нас Вишневый старый сад – зовет под розовую тень!»

Он шагнул в пространство экранолокатора и уже не мог видеть, что глобус хронометра, вдруг солнечно вспыхнув, стал темнеть. Темнеть и таять, сжимаясь в плазменный шар. Шар уменьшался и оттого как бы прибавлял яркости – сопротивление

* 1-е послание коринфянам, гл. XIII, 4–8.

света пожирающей сути хаоса. Последний пронзающий блик и – взрыв.

– Ты – есть! И ты есть – я!

Почувствовав эхо ее восторга, он пришел в себя. Сколько пребывал в забытьи – не помнил. Хронометр бесстрастно повторял, что они преодолели временной барьер и со скоростью мысли возвращаются домой, на родную Землю.

Он окинул рассеянным взглядом мокнущее пространство сада и, слегка качнувшись, почувствовал ребристую твердость подлокотников.

Наверное, уют земного дома – и в этой беседке, и в этом плетеном из ивовых прутьев шезлонге. Во всяком случае, у него есть возможность поселиться в любом уголке своей памяти.

Он улыбнулся и прежде, чем подумал об адресе, услышал музыку студенческого джаза: «О, я люблю тебя, вишневый сад!..»